

И.В. Мотеюнайте (Псков, Россия)

**Репрезентация системы ценностей в рассказе В.П. Астафьева «Людочка»:
повествование, сюжет, композиция**

Аннотация: Автор отталкивается от исследований проблемы насилия и рассматривает понимание силы, выраженное в рассказе В.П. Астафьева «Людочка», сюжет которого изображает прямые формы насилия: изнасилование и убийство.

Анализ композиции рассказа и характеристики персонажей показывают, что социальное и стихийно-животное начала являются, по Астафьеву, внешними по отношению к человеку разрушительными формами силы, а противостоять им могла бы духовная сила внутри человека.

Автор транслирует в рассказе устойчивые национальные представления о терпении как о единственно возможной стратегии выживания, что связано с исторически сложившимися условиями социального угнетения. Подобные представления отражены в пословицах, поговорках, духовных стихах, а также в сочувствии русской литературы человеку, который обычно воспринимается жертвой репрессивной государственной машины.

Гендерные стереотипы, относящие к «мужскому» защиту, а к «женскому» - созидание жизни, играют существенную роль в воспроизведенной картине мира на уровне повествования, но развенчиваются сюжетом.

Пессимистическое в целом восприятие жизни повышает ценность жертвенного сострадания. Главной его формой у Астафьева становится литературное творчество, воплощающее протест против угнетающего человека социального устройства. «Слово» приравнивается к «делу», и «виртуальная» реальность творческого сознания становится единственным пространством идеалов и ценностей.

Ключевые слова: В.П. Астафьев, «Людочка», проблема насилия, национальная система ценностей, способы воплощения

I.V. Motejunajte (Pskov, Russia)

**The Value System in V.P. Astafyev's Short Story 'Lyudochka':
Narrative, Plot, Composition**

Abstract: Drawing on research into violence, this paper discusses the understanding of power in the short story 'Lyudochka' by Viktor Astafiev. The story, to be more precise, raises the problems of rape and murder as most atrocious forms of violence. The

composition of the story and characteristics of the characters show that a human's social and biological natures, according to Astafiev, are secondary destructive forces and these can be tamed by the moral – inner – force. Through his story Astafiev translates the concept of patience as a deeply-rooted national concept and argues that being patient is the only viable strategy of survival, which is conditioned by a history of social suppression. The idea of being patient is encountered in many Russian proverbs and sayings, poems, stories, and novels. It is common practice that a Russian person is portrayed as a victim of the state repression machine. The gender stereotypes which ascribe protection and defense to a man and life sustenance to a woman, however essential they may be in the narrative, are broken by the plot. The pessimistic perception of life through literature enhances the value of compassion and self-sacrifice. The word is equated with the deed, and virtual reality of artistic consciousness becomes an only space of ideals and values.

Key words: V.P. Astafyev, 'Lyudochka', problem of violence, national system of values

В.П. Астафьев воспринимается как защитник традиционных ценностей, трудолюбия, любви к природе, смекалки, незлобивости, связанных с крестьянским мировоззрением, цельность которого пошатнулась в описываемую им эпоху в связи с урбанизацией и формированием новой государственной системы. Творчество Астафьева рассматривается в контексте двух тем русской литературы второй половины прошлого века: войны и деревни; обе отмечены остротой социальной проблематики. Социальные взаимодействия современности в отечественной науке, вслед за западной, часто рассматриваются сквозь призму властных отношений и применения насилия в его разных проявлениях начиная с 1990-х гг¹. Свидетельством непреходящей актуальности темы и в нашем столетии стала книга В.И. Красикова «Насилие в эволюции, истории и современном обществе. Очерки» (М.: Водолей, 2009) и перевод в 2010 г. работы С. Жижика «О насилии».

Обратившись к теме социального насилия в творчестве Астафьева, И.Л. Новокрещенова вписала военные произведения писателя в контекст размышлений русских мыслителей о формировании советским государством безвольного согласия с насилием². Подобное представление о национальной культуре распространено в социологических исследованиях и обычно связывается с принадлежностью русской культуры к типу традиционных³. Так, В.И. Красиков в своих очерках «Насилие в эволюции, истории и современном обществе» анализирует материал пословиц и поговорок из словаря В. Даля и отмечает такие качества русского народного сознания, как оправдывание и *опривычивание* насилия, однако он заключает, что подобные черты «выражают не особенности менталитета, а скорее социально-исторические особенности традиционного общества»⁴.

¹ См.: Губин В.Д. Русская культура и феномен насилия // Вопросы философии. 1995. № 3. С. 3–5; Гусейнов А.А. Понятия насилия и ненасиления // Вопросы философии. 1994. № 4. С. 35–41; Румянцева Т.Г. Агрессия и контроль // Вопросы психологии, 1992. № 5/6. С. 35–40; Тарасов К.А. От насилия в кино к насилию «как в кино»? // Социологические исследования. 1996. № 2. С. 35–41; Шихирев П. Психика и мораль в конфликте // Общественные науки и современность. 1992. № 3. С. 27–37; подборка материалов в журнале «Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения» (вып. 8. М. 1995);

² Новокрещенова И.Л. Типология социального насилия в творчестве В.П. Астафьева о великой отечественной войне // Вестник Тамбовского университета. Серия: гуманитарные науки. 2012. Вып. 5(109). С. 84–89.

³ Красиков В.И. Насилие в эволюции, истории и современном обществе. Очерки. М.: Водолей, 2009.

⁴ Красиков В.И. Насилие в эволюции, истории и современном обществе. С. 180–181.

В связи с обозначенной проблемой возникает вопрос о традициях и возможностях сопротивления насилию. Возвращаясь к Астафьеву и продолжая наблюдения над проблематикой насилия в его творчестве, бесполезно обратить внимание на то, что он понимает под силой. В этом отношении показателен рассказ «Людочка», написанный в 1987 г. и опубликованный в № 9 «Нового мира» за 1989 г. Сюжет рассказа включает изнасилование, самоубийство и убийство, что выдвигает на первый план проблему насилия. Его концентрация в сюжете сочетается с авторскими объяснениями характеров. В русле реалистической концепции человека автор акцентирует разные факторы, определяющие склад личности, на примере разных героев. В повествовании указывается, что на характеры героев повлияли разные факторы: нехорошие гены (Людочка), социальные условия в стране (Гавриловна), история русской деревни (мать), случайные обстоятельства (Артемка Мыло), природа (Стрекач). Анализ сюжетно-композиционных приемов и особенностей повествования позволяет увидеть за прямым изображением насилия авторское понимание разных граней силы, в том числе и связанных с национальной аксиологией.

В этом рассказе Астафьева социальный фон дан штрихами и однозначно оценен как деформирующий личность. Отрицательное влияние социальных условий на человека в Советском Союзе демонстрируется прежде всего примером Гавриловны. Стареющая парикмахерша, мучающаяся профессиональной болезнью ног, обещает главной героине Людочке отписать ей свой дом в благодарность за заботу и ведение хозяйства. Характерно, что жизнь Гавриловны описана автором наиболее подробно; в иных случаях он ограничивается выразительным эпизодом или общей характеристикой, а здесь рассказ о прошлом содержит множество деталей и основное внимание сосредоточено на колоссальных усилиях героини обрести жилье. Базовая человеческая потребность в крыше над головой удовлетворяется в Советском Союзе ценой тяжелого многолетнего труда, без отпусков, с постоянным самоограничением. Будучи доброй помощницей героини, приютив девушку и поддерживая ее, в соответствии со своими, вполне традиционными, представлениями о благополучии, Гавриловна, однако, в решающий момент отступает от избранной роли. Автор постарался объяснить ее выбор сложившимися условиями: социальный фон в целом и жилищная проблема в частности, остро стоявшая в СССР¹, объясняет и оправдывает для читателя поступок Гавриловны, когда она, выбирая между сохранностью собственного дома и благополучием Людочки, отдает предпочтение первому. Так формируется представление о воздействии социальных условий на личность: тяжелые условия объясняют отступления от традиционной морали.

Саркастический эпилог рассказа становится пуантом осуждения социальной системы: «На четвертой полосе местной газеты в конце квартала появлялась заметка о состоянии морали в городе и было сообщено, что за отчетный период в городе совершилось три убийства, сто пять квартирных краж, пятнадцать налетов на прохожих с целью снятия одежды, была попытка ограбить районную кассу, но тут же ее пресекли бдительные силы милиции, крупных краж и преступлений с особо тяжкими последствиями не наблюдалось, насилий было всего восемь, угонов транспорта – тридцать два, налетов на дачи одиннадцать. Конечно, о полном покое граждан и моральном благополучии в городе говорить еще рано, одна-

¹ Подробней об истоках жилищной проблеме в СССР см.: Хоффман Дэвид Л. Взращивание масс. Модерное государство и советский социализм. 1914–1939 / Пер. А. Терещенко. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 87–90.

ко, благодаря профилактической работе и усилению внимания местных властей к оздоровлению общества посредством спортивной деятельности, в частности, за счет открытия плавательного бассейна на базе локомотивного депо, где подогретая вода давно уже течет попусту, преступность по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилась на один и семь сотых процента.

Людочка и Стрекач в этот отчет не угодили. Начальнику областного управления УВД оставалось два года до пенсии, и он не хотел портить положительный процент сомнительными данными. Людочка и Стрекач, не оставившие после себя никаких записок, имущества, ценностей и свидетелей, прошли в регистрационном журнале УВД по линии самоубийц, беспричинно, попросту говоря – сдуру, наложивших на себя руки»¹.

Этот эпилог выводит читателя за пределы достаточно замкнутого мира героини и выражает авторскую оценку системы в целом. Астафьев выстраивает сюжет таким образом, чтобы в собственно криминальных событиях милиция участия не принимала. Образ этого социального института он формирует прежде всего в приведенном эпилоге, но в начале текста упоминает и конкретного представителя милиции, акцентируя в нем стремление к демонстрации силы: «...молоденький милиционер в нарядном картузе, ходивший вокруг танцплощадки со связкой ключей, подействовал на Людочку успокаивающе. Ключами милиционер поигрывал, позванивал так, чтоб наглядно было: **сила** есть против всяких страстей и бурь. Время от времени эта **сила** вступала в действие. Милиционер приостанавливался, кивал картузом, и на его кивок тут же из кустов бузины являлось четверо парней с красными повязками дружинников. Милиционер повелительно тыкал пальцем в загон и бросал парням звенящие ключи» (стр. 8). Сосредоточенность правоохранительных (карательных) органов лишь на собственном имидже подчеркивает их тотальную отчужденность от реальных человеческих нужд. Выводя из криминального сюжета милицию, автор объясняет, почему функция соблюдения социального и бытийного порядка в позднесоветском обществе выполняется самими гражданами. В отличие от массовой литературы, в которой подобный мотив часто используется для развития полноценного детективного сюжета, Астафьев его делает фоновым элементом композиции (разворачивает лишь в эпилоге), переводя конфликт из социальной сферы в нравственно-психологическую и бытийную. Это позволяет ему продолжить традицию русской литературы, с ее состраданием человеку в его неравной борьбе с государством.

Страшный сюжет (изнасилование) имеет развязкой наказание виновного Стрекача: отчим Людочки его убивает, и читатель чувствует облегчение. Кажется, что не имеющий имени герой выполняет архетипическое назначение отца, защищая девушку. Акт мести воспринимается как восстановление справедливости. Однако характерно описание отчима в момент убийства: «Вэпэвэрзэшное кодро – шестерки Стрекача заступили дорогу мужику, он уперся в них взглядом. Парни-вэпэвэрзэшники почувствовали себя под этим взглядом мелкой приканавной зарослью, которую, не расступись, мужик этот запросто стопчет! Настоящего, непридуманного пахана почувствовали парни. Этот не пачкал штаны грязью, этот давно уже ни перед кем, даже перед самым грозным конвоем на колени не становился. Он шел на полусогнутых ногах, чуть пружинистой, как бы даже поигрывающей, по-звериному упругой походкой, готовый к прыжку, к действию. Раздавшийся в

¹ Астафьев В.П. Людочка // Новый мир. 1989. № 9. С. 7. Далее страницы указываются в тексте в круглых скобках по этому изданию.

груди оттого, что плечи его отвалило назад, весь он как бы разворотился навстречу опасности. Беспощадным временем сотворенное двуногое существо с вываренными до белизны глазами, со дна которых торчало остро заточенное зернышко. Вспыхивали искры на гранях. Возникали те искры, тот металлический огонь из темной глубины, клубящейся не в сознании, а за пределами его в том месте, где, от пещерных людей доставшееся, сквозь дремучие века прошедшее, клочкотало всесокрушающее, жалости но знающее бешенство.

У-у-уы-ы-ых! У-у-уы-ы-ых! – доносилось из утробы, из-под набрякших неандертальских бугров лба, из-под сдавленных бровей, а из глаз все сверкали и не гасли, сверкали и не гасли те искры, тот пламень, что расплавил и сделал глаза пустыми, ничего и никого не видящими» (стр. 25).

Именования героя выявляют природу той силы, которая в данном обществе творит суд: «мужик» – «пахан» – «существо». Лексически и ритмически автор создает образ первобытной, дикой, животной силы, направленной на разрушение / уничтожение окружающего. Измена человечности в данном случае поддерживается и замечанием матери Людочки: «Мать Людочки всегда чужая в “самом” затаенную, ей неведомую страхищу, какую-то чудовищную мощь, которую он ни разу, слава Богу, не оказал при ней, да, может, и не окажет». Эта «чудовищная мощь» в авторском комментарии о состоянии отчима после убийства получает и иное именование, схожее с пушкинской оценкой бунта Евгения в «Медном всаднике»: «Какая-то прежняя, до конца им самим не познанная злая **сила** высоко его подбросила, он поймался за сук, тот скрипнул и отвалился от ствола, обнажив под собой на глаз коня похожее йодистого цвета пятно. Подержав сук в руках, почему-то понюхав его, отчим Людочки тихо, для себя молвил:

– Что же ты не обломился, когда надо? – и с внезапным неистовством, со все еще неостывшим бешенством искрошил сук в щепки» (стр. 26)¹.

Тема дикой, стихийной, природной силы как разрушительного начала в социуме формируется в тексте и описанием парка, зарастающего дурнолесьем и загаженного людьми, «демонстрирующими силу»². Вершинным воплощением такой силы становится образ Стрекача, в портрете которого акцентированы «насекомые» элементы, обездушивающие героя. И авторская характеристика («Порочный, с раннего детства задроченный», стр. 10), и изображение его действий, и рассказ о прошлом направлены на то, чтобы отделить его от человеческого мира и приблизить к животному-природному. Действия его – блатной кураж и изнасилование – приводят к нарушению жизненного порядка.

Само слово «сила» в «Людочке» используется с иронией, когда речь идет о милиции, и сопровождается отрицательной коннотацией по отношению к отчиму. Активные действия человека в рассказе Астафьева имеют отрицательную оценку и,

¹ Выделено мною. – И.М. Ср.: «И обуянный силой черной».

² «Вдоль канавы, вламываясь в сорные заросли, стояли скамейки, отлитые из бетона, потому что деревянные скамейки, как и всё деревянное, дети и внуки славных тружеников депо сокрушали, демонстрируя **силу** и готовность к делам более серьезным. Все заросли над канавой и по канаве были в собачьей, кошачьей, козьей и еще чьей-то шерсти. Из грязной канавы и пены торчали и гудели горлами бутылки разных мастей и форм: пузатые, плоские, длинные, короткие, зеленые, белые, черные; прели в канаве колесные шины, комья бумаги и оберток; горела на солнце и под лунной фольга, трепыхалось рванье целлофана; иногда проносило аж до самой реки, в которую резво втекал зловонный поток канавы, какую-нибудь диковину: испутившего резиновый дух крокодила Гену; красный круг из больницы; жалко слипшийся презерватив; остатки древней деревянной кровати и много-много всякого добра» (стр. 6).

как правило, вызваны желанием самоутверждения («демонстрируют силу»). Даже защита принимает форму выплеска эмоций, а не установление порядка. В результате «биологическая», стихийная, сила не менее разрушительна, чем насилие государственной власти.

Оценка силы меняется в контекстах «деревня» (точнее, яблоня в деревне¹), «Людочка» и «мать»². Женское начало у Астафьева ассоциируется с жизнеспорожждением, в соответствии с фольклорной традицией. Положительная семантика силы связана с актом, направленным на поддержку другого человека, помощь ему. (Немаловажно, что сама жизнь в таком случае воспринимается тяжелым испытанием, бременем, непосильным для многих) Авторское понимание транслируется в эпизоде с умирающим в больнице молодым лесорубом через развернутое размышление героини.

Этот эпизод расположен в центре рассказа, тем самым выделен композиционно. Он очень важен, поскольку вводит тему силы в контекст жизни и смерти. «Поднявшись с кровати, переждав головокружение, Людочка заглянула за печь и, прижав кулаки к груди, долго смотрела на мучающегося человека. Движимая инстинктом сострадания, не совсем еще отмершего в роде человеческого, она приложила ладонь к лицу парня – голова его в бинтах пугала ее. Парень постепенно стих, насос перестал в нем качать воздух, разлепил ресницы, открыл плавающие в жидкой слизи глаза и, возвращаясь из небытия, сделал еще одно **усилие** – различил слабый свет и человека в нем» (стр. 18). Этот контекст проясняет мысль о необходимости силы для жизни, которая возможна лишь как героическое сопротивление смерти и требует активных усилий, причем обязательно совместных: «Встряхнулась она от слабого стога, похожего на щенячье поскуливание.

Парень последним, непримиримым **усилием** выпростал свои пальцы из рук Людочки и отвернулся – он ждал от нее не слабого утешения, он жертвы от нее ждал, согласия быть с ним до конца, может, и умереть вместе с ним. Вот тогда свершилось бы чудо: вдвоем они сделались бы **сильнее** смерти, восстали бы к жизни, в нем, почти умершем, появился бы такой могучий порыв, что он смел бы все на своем пути к воскресению» (стр. 19).

Мысль о Другом как об источнике силы для человека автор тоже передает героине: «Ведь если бы и вправду была в ней готовность до конца остаться с умершим, принять за него муку, как в старину, может, и в самом деле появились бы в нем неведомые **силы**. Ну даже и не свершись чуда, не воскресни умирающий, все равно сознание того, что она способна на самопожертвование во имя ближнего своего, способна отдать ему всю себя, до последнего вздоха, сделало бы, прежде всего, ее **сильной**, уверенной в себе, готовой на отпор злым **силам**.

О-о, она теперь понимала совсем вживе, совсем натурально то, о чем когда-то читала и равнодушно зубрила по учебникам, как выживали в тюрьмах-одиночках в цепи закованные герои. Конечно же, они были сами творцами своего могущественного духа, но сотворялся этот дух с помощью таких же **сильных** духом, способных разделить сострадание...» (стр. 20)

¹ «Яблоня эта, казалось, сама собой ободралась, облезла, как нищенка, одна только ветвь была у нее в коре и цвела каждую весну, из чего и **сил** набиралась?» (стр. 13).

² «Она в голодные, холодные годы, с мужиком-пьяницей, худо-бедно подняла, вырастила дитя, надо и на другого где-то и как-то **сил** набраться. Или последние **силы**, что в ней, да и не в ней уже, в корнях ее рода бывших, сохранить» (стр. 14).

В своих размышлениях о смерти и человеческой силе Людочка апеллирует к истории (вспоминает жен декабристов) и транслирует христианскую идеологию самопожертвования и сострадания как основной источник силы для человека. Характерно, что в этом же эпизоде впервые в рассказе звучит молитва: «Боже праведный! Боже преславный... Раба твоего прости и согрешенья вольные и невольные... огневицу угаси, врачебную Твою **силу** с небеси пошли...» (стр. 19). Причем только этот фрагмент оформлен как традиционный молитвенный текст, в котором соединены части заупокойной молитвы и молитвы за болящего. В размышлениях героини вызревают темы жертвы и сострадания, и из этого комплекса христианских мотивов рождается ее понимание силы. В отличие от иных, такое ее значение подается автором как трудно и самостоятельно постигаемое человеком, однако лишь на уровне понимания, как мысль, но не как действие.

Автор акцентирует в Людочке слабость, причем физическая слабость объясняет ее неспособность постоять за себя: «...девочка была ушиблена нездоровой плотью отца и родилась слабенькой, болезной и плаксивой» (стр. 3), – пишет он в начале рассказа, а затем комментирует ее поведение: «Гавриловна, почуяв слабинку в характере постоялицы, сбывла на девочку все домашние дела, весь хозяйственный обиход» (стр. 5). Вывод, к которому приходит сама Людочка, не способствует продолжению жизни: «Людочка неожиданно подумала об отчине: вот он небось из таких, из **сильных**? Да как, с какого места к нему подступиться-то? Было время, их, деревенских школьниц-шмакодявок, подвыпившие парни молодецки-весело спихивали в клубе со скамеек на грязный пол, а сами сидели просторно, одни, и не поднимали с пола девчонок до тех пор, пока они не обзаводились телом, которое уже можно мять и тискать.

А те, городские, на танцплощадке?

Разве они не столкнуты со скамейки под ноги, на грязный пол? И зачем она вместе с Гавриловной осуждала их? Чем она-то их лучше? Чем они хуже ее? В беде, в одиночестве люди все одинаковы. И нечего...» (стр. 21).

Самооценка героини как слабой и потому недостойной жизни, по сюжету, приводит ее к мысли о самоубийстве. В унисон с таким сюжетным поворотом звучит и молитва ее матери, оценивающей ее самоубийство как вызванное «неполноценностью» девушки: «Господи, помоги хоть эту дитю полноценную родить и сохранить. Дитя не в тягость нам будет, хоть мы и старые, дитя нам будет уж как сын и как дочка, и как внук, и как внучка, оно скрепит нас, на плаву жизни удержит... А за тую доченьку, кровиночку алую, жертву жизни невинную, прости меня, Господи, если можешь... Я зла никому не делала и ее погубила не со зла... Прости, прости, прости...» (стр. 26).

Образ матери, не имеющей, как и отчим, имени и исчерпывающийся функциональностью, Астафьев выстраивает как сформированный историческими обстоятельствами: «Поскольку со всеми своими бедами-напастями и с жизнью своей мать Людочки привыкла справляться одна, так и думать привыкла: на роду бабьем даже как бы записано – терпи. Мать не от суровости характера, а от стародавней привычки быть самостоятельной во всем, не поспешила навстречу дочери, не стала облегчать ее ношу, – пусть сама со своей ношей, со своей долей управляется, пусть горем и бедами испытывается, закаляется, а с нее, с бабы русской, и своего добра достаточно, донести бы и не растрясти себя до тех пределов, которые судьбой иль Богом определены» (стр. 14).

Века тяжелого труда и социального угнетения сформировали представление о покорности и терпении как о единственно возможных стратегиях выживания. Астафьев изображает героев, наследующих традицию такого восприятия жизни: у Людочки «издревле доставшееся женское чутье», у отчима – «от пещерных людей доставшееся» бешенство, у матери – представления о насилии как о привычной «беде – не беде», потому что она «баба русская». Гендерные стереотипы, относящиеся к «мужскому» защите, а к «женскому» – созидание жизни, играют существенную роль в воспроизведенной картине мира на уровне повествования, но развенчиваются сюжетом. Автор показывает, как Людочке последовательно отказывают в поддержке близкие люди; отчим мстит, но не защищает, мать и Гавриловна не способны помочь девушке из-за объективно сложившихся условий жизни.

Таким образом, автор в рассказе показывает систему человеческих отношений, в которых активные физические действия вызывают разрушения и оцениваются негативно; им может противостоять внутренняя (духовная) сила человека. Эта мысль, воплощенная в тексте, так сказать, пунктиром, дана в модусе пожелания и при жесткости сюжета и натуралистичности описаний выглядит воплем отчаяния. От безысходности происходящего автор старается смоделировать возможный положительный фундамент, находя его в традиционной культуре. Между тем история и человек, по логике повествования, свидетельствуют о деградации: спивается и опустошается деревня; зарастает парк; люди вырождаются¹; Людочка не смогла прижиться в городе, остановившись в привокзальной зоне, и покончила с собой.

В силу сложившихся социальных и исторических обстоятельств люди лишены внутренней (духовной) силы, поэтому не могут противостоять ни дикой стихии, ни исторически сформированным социальным условиям. Положительные герои рассказа транслируют понимание жизни как чего-то непосильного для себя, трудного; они, по логике автора, нуждаются в сочувствии, в помощи со стороны. Один из самых безысходных рассказов Астафьева обнажает глубокие пласты национального сознания, созвучные состоянию, выраженному, например, в русских духовных стихах, по выводам Г. Федотова: «...жизнь тяжка и беспросветна; она слагается из непрерывных страданий. Отсюда эти слезы, которые застилают глаза певца даже тогда, когда он говорит о чистой красоте. Его оценка человеческой жизни категорична и исполнена глубокого пессимизма»².

Астафьев утверждает способность к состраданию главной ценностью человека. При этом сострадание свойственно только автору; оно выражено в эпиграфе: «Ты камнем упала. / Я умер под ним» (Вл. Соколов) – и в авторском «предисловии»: «Зачем же история эта, тихо и отдельно ото всего, живет во мне и жжет мое сердце?» (стр. 3). Оно в литературном творчестве, которое превращается в форму протеста против угнетающего человека социального устройства. Этот протест выражен прежде всего стилистическими средствами: натуралистичностью описаний, раздражающих читателя, авторской иронией и сарказмом. Пространством идеалов и ценностей утверждается «виртуальная» реальность творческого

¹ «С испугу же, не иначе, Артемка-мыло скоро женился, и у него по-стахановски, быстрее всех в поселке через четыре всего месяца после свадьбы народилось кучерявое дите, улыбчивое и веселое. На крестинах отец Артемки-мыло, заслуженный пенсионер, смеялся, говорил, что этот малый с плоской головой, потому что на свет белый его вынимали щипцами, уже и с папино мозговать не сумеет, с какого конца на столб влазить – не сообразит» (стр. 27)

² Федотов Г.П. Стихи духовные (русская народная вера по духовным стихам) М.: Прогресс; Гнозис», 1991. С. 79.

сознания; слово приравнивается к делу, со всеми вытекающими последствиями национально самобытной картины мира.

ЛИТЕРАТУРА

- Астафьев В.П. Людочка // Новый мир. 1989. № 9. С. 3–28.
- Губин В.Д. Русская культура и феномен насилия // Вопросы философии. 1995. № 3. С. 3–5.
- Гусейнов А.А. Понятия насилия и ненасилия // Вопросы философии. 1994. № 4. С. 35–41.
- Хоффманн Дэвид Л. Взращивание масс. Модерное государство и советский социализм. 1914–1939 / Пер. А. Терещенко. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 424 с.
- Красиков В.И. Насилие в эволюции, истории и современном обществе. Очерки. М.: Водолей, 2009. [200] с.
- Новокрещенова И.Л. Типология социального насилия в творчестве В.П. Астафьева о Великой Отечественной войне // Вестник Тамбовского университета. Серия: гуманитарные науки. 2012. Вып. 5(109). С. 84–89.
- Румянцева Т.Г. Агрессия и контроль // Вопросы психологии. 1992. № 5/6. С. 35–40.
- Сафуанов Ф.С. Психологическая типология криминальной агрессии // Психологический журнал. 1999. Т. 20. № 6. С. 24–35.
- Тарасов К.А. От насилия в кино к насилию «как в кино»? // Социологические исследования. 1996. № 2. С. 35–41.
- Шихирев П. Психика и мораль в конфликте // Общественные науки и современность. 1992. № 3. С. 27–37.

REFERENCES

- Astafyev V.P. Lyudochka. *Novy Mir*. 1989. No 9, pp. 3–28.
- Gubin V.D. Russian Culture and Phenomenon of Violence. *Voprosy Filosofii (Russian Studies in Philosophy)*. 1995. No 3, pp. 3–5.
- Guseinov A.A. Concepts of Violence and Unviolence. *Voprosy Filosofii (Russian Studies in Philosophy)*. 1994. No 4, pp. 35–41.;
- Hoffmann David L. (2011) Cultivating the Masses. Modern State Practices and Soviet Socialism, 1914–1939. Cornell University Press, 2011. 344 p.
- Krasikov V.I. (2009) Violence in an Evolution, History and Modern Society. Essays. Moscow. Vodolej Publ. 200 p.
- Novokreschenova I.L. Typology of Social Violence in the Works of V.P. Astafyev about the Great Patriotic War. *Tambov State University Bulletin. Series: Humanities*. 2012. Vol. 5(109). pp. 84–89.
- Rumyantseva T.G. Aggression and Control. *Voprosy Psichologii*. 1992. No 5/6, pp. 35–40.
- Shihirev P. Psychic and Morality in the Conflict. *Social Sciences and Contemporary World*. 1992. No 3, pp. 27–37.
- Tarasov K.A. From Violence in the Movies to Violence “like in the Movies”? *Sotsiologicheskie Issledovaniya (Sociological Studies)*. 1996. No 2, pp. 35–41.

Сведения об авторе:

Илона Витаутасовна Мотеюнайте,
доктор филол. наук, доцент
профессор
факультет русской филологии и иностранных
языков
ПсковГУ

Ilona V. Motejunajte,
Doctor of Philology, Assistant Professor
Professor
Faculty of Russian Philology and Foreign
Languages
Pskov State University

ilona_motya@mail.ru